

XVIII. Дурно уединившиеся

Иногда лучше уйти в себя, чем оставаться среди людей. Ницше говорит, что теряет себя в толпе, и возвращается в пустыню, чтобы снова себя найти⁴, а Лев Толстой ему вторит: как хороши укору и стыд; они загоняют в себя – *если есть, куда*⁵. Толстой правильно делает уточнение. Уединение никогда не было *полезно всем людям* (хотя и не делается от этого *бесполезным для всех*). Мудрецы, святые и пророки, иногда даже поэты – все выходили из пустыни, из внешнего или внутреннего уединения. Может показаться, что поэтов я вспомнил напрасно: они, как известно, люди легкомысленные, потерянные или близкие к потере себя... Но среди всего сонма поэтов есть и те, о которых сказано:

«Исполнен мыслями златыми,
Непонимаемый никем,
Перед распутьями земными
Проходишь ты, уныл и нем».

Они по праву следуют за святыми, пророками и мудрецами.

Уединение, однако, бывает разным. Одни и в затворе ощущают себя частью мирового целого. Другие – *дурно уединившиеся* – находят только «темную деревянную баню с пауками», по Свидригайлову; дом без окон; ночь без звезд. Болезненно то уединение, которое не обогащает. В «пустыне» внутренний голос, как правило, громче. Если же уединенный писатель меряет шагами пустынный дом своей души, и не видит ни образа, не слышит ни звука, то не следовало ему оставаться одному. Оставшись один, такой человек с холодным пылом восклицает: «Я же говорил: *ничего нет*. Тишина и темнота!»

Обычная черта этих «дурно уединенных» – внутренний холод, неспособность любить, безразличие или вражда к «идеи Бога». Не скажу, что корень атеизма в неумении любить, т. е. исключительно в нем, но неспособность к любви – часть общей душевной ущербности, свойственной таким людям. Эта ущербность всегда почему-то связана с крайней уверенностью в себе, в естественности, «нормальности» своей душевной жизни...

Атеизм тоже основывается на внутреннем опыте: *опыте безблагодатности*, отъединения, холода и темноты. Плод этого опыта – безблагодатная вера, точнее, неверие. Даже вдохновение отрицается, потому что разрушает картину холодного, мертвенного мира. Безблагодатные люди не боятся сказать, что *и Пушкину* было горько, неприятно и постыло писать; что умственный труд сух и холоден; что вдохновение *выдуманно*... Так говорил неугомонный, но совершенно безблагодатный Лев Шестов; так говорила Лидия Гинзбург... Почему эти люди столько сил тратят, чтобы убедить себя и других в том, будто вдохновение – сладкая ложь? По-видимому, с единственной целью утешиться, хотя и странным образом: *не нам – так и никому*.

Их вера в холодное мироздание, в конечном счете, не имеет другого основания, кроме собственного душевного оцепенения. Всё остальное двусмысленно, доступно перетолкованию, слишком шатко, чтобы поддержать их холодный пыл.

⁴ «Среди многих я живу, как многие, и мыслю не так, как я; спустя некоторое время я чувствую, что меня хотят изгнать из меня самого и похитить мою душу, и я становлюсь зол на каждого и боюсь каждого. Пустыня мне необходима, чтобы снова сделаться добрым».

⁵ «Вполне понял благодетельность осуждений, укоров, стыда людского. Понял, как это загоняет в себя, – разумеется, если есть в себе то, куда уйти».